



Amara Vey

Не отвечайте, если позовут.

«Автор»

2026

Vey A.

Не отвечайте, если позовут. / А. Vey — «Автор», 2026

Есть место, где прячутся те, кого не смогли найти. Дом в конце гравийной дороги: бесплатный, тёмный, с колоннами. Условия простые — живёте, ничего не платите, вопросов не задаёте. За такими объявлениями приезжают люди с чемоданами, которые нельзя открывать при посторонних. Все они здесь. Дверь им открыла хозяйка — женщина, которой нельзя дать ни тридцати, ни пятидесяти. В холле их встретил мажордом, светящийся с 1903 года. А у самой дальней двери висит замок восточного крыла, которое запрещено открывать. Правил в доме три: не запирайте дверь, не открывать восточное крыло, не отвечать, если ночью позовут по имени с улицы. И вот однажды ночью зовут. Голосом того, кто давно мёртв. Тогда выясняется, что дом никогда не был убежищем. Он — ловушка, которая работает уже сто двадцать лет, и каждый гость здесь — либо добыча, либо расходный материал. А цена ошибки проста: твоё имя впечатают в Книгу — и оно перестанет принадлежать тебе.

© Vey A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Дверь открылась сама	6
Глава вторая. Она идёт	11
Глава третья. Малы	15
Глава четвёртая. Четыре минуты	17
Глава пятая. Живой	20
Глава шестая. Отказ	23
Глава седьмая. Босиком	27
Глава восьмая. Длинные руки	30
Глава девятая. Буфет	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Не отвечайте, если позовут.

ПРИЗРАК

роман

Глава первая. Дверь открылась сама

Дорога к особняку закончилась там, где заканчивался асфальт. Дальше начинался гравий, а за ним — сквозь заросли мокрого клёна — проступил дом. Двухэтажный, с колоннами, облупившимися до серого кирпича, с высокой кровлей, чёрной от многолетней сырости. Огромное крыльцо, похожее на раскрытую пасть, съедало полосу света фар — и не возвращало её обратно.

Анна ехала первой. Рядом молчал Сергей, глядя прямо перед собой, как будто дорога была допросом, а он — задержанным. На заднем сиденье Марина держала на коленях холщовый свёрток с красками и то и дело поглядывала в боковое зеркало: за ними с самого Кольцевого никто не шёл, но привычка проверять въелась под кожу и не отпускала.

У каждого из них за спиной лежал чемодан, который нельзя открывать при посторонних.

У Анны — статья. Год назад, в апреле, пропал её редактор Марк Вейс — он вёл её текст о том, как из города исчезают люди, знавшие слишком много. С той весны её жизнь превратилась в дурной триллер: за пропажей редактора последовал визит — у неё дома кто-то побывал и не взял ничего, кроме ноутбука, а потом на стоянке у подъезда стояла машина с заведённым двигателем, из которой никто не выходил. Три недели назад она подписала к печати финальную версию статьи — и охота возобновилась. Анна всё поняла правильно и уехала в тот же вечер, успев взять зарядку и главное — папку с запасной версией статьи. Если её найдут, папка вернётся в редакцию. Это её страховка и её приговор.

Сергей пятнадцать лет отработал в убойном отделе и пятнадцать лет считал, что закон — это он сам. Пока не превысил. А тот, кого он превысил, оказался сыном человека, который стоит выше закона. Его уволили тихо, сажать не стали — «по-хорошему». Через месяц он понял, что «по-хорошему» значит «по-тихому»: сначала исчезла его рекомендация из отдела кадров, потом старое дело всплыло с правками, которых он не вносил, а потом на лестнице у подъезда его спросили о здоровье троих молодых людей, которых он никогда не видел. Сергей умел считать — и уехал.

Марина вышла замуж три года назад, и первые полгода всё было как в рекламе парфюма. Потом выяснилось, что в рекламе не показывают, как муж по очереди, раз в неделю, читает её телефон, а однажды сам меняет пароль в её банковском приложении — «чтобы тебе было спокойнее». Она ушла, пока он был на Юге, взяла только краски, планшет и ту маленькую глупую гордость, без которой вообще никто никуда не уходит.

— Вы уверены, что это то место? — спросила Марина, когда кончился асфальт.

— Именно то, — отозвалась Анна. — Объявление было странное, но условий мало: живёте, ничего не платите, вопросов не задаёте. Мне и не нужно было больше.

— «Вопросов не задавать», — повторила Марина. — Обычно так пишут перед тем, как поднять цену.

— После того, как за тобой охотятся, бесплатный особняк уже не кажется странным, — сказала Анна. — Станным становится всё, что стоит денег.

Особняк вырастал темнее с каждым шагом. Когда-то это была усадьба — Анна читала о ней ещё в прежней жизни, до того как её имя стало означать угрозу. «Усадьба Нировых, XIX век. Последняя владелица — Аделаида Нирова». Сто лет назад здесь звучал рояль, теперь звук не мог удержаться даже в стенах: окна были заколочены крест-накрест, и дом походил на человека с завязанными глазами.

Они поднимались по ступеням крыльца, когда дверь открылась сама.

— Вы опоздали на девятнадцать лет, — сказала женщина в проёме. — Но я рада, что вы всё-таки приехали.

Это была Нирова. Аделаида Нирова — если она вообще похожа на то имя, которым представилась, — выглядела так, словно время разливалось вокруг неё волнами и не решалось коснуться. Ей нельзя было дать ни тридцати, ни пятидесяти. Кожа её была бледной, почти прозрачной, как тонкий фарфор, сквозь который просвечивают синие жилки; в свете фонаря она казалась отполированной изнутри холодным светом. Высокие скулы и впалые щёки придавали лицу строгость старинного портрета — того, что висит в затемнённом зале и провожает гостей взглядом, когда зажигают свечи. Губы — тонкие, цвета полузабытой алой эмали — не то чтобы улыбались, не то чтобы нет.

Глаза были самое странное. Огромные, тёмно-серые, почти до черноты — но в глубине их, как на дне колодца, плавала искра света, не мигающая и не отпускающая. Взгляд Нировы держал собеседника так, что первым хотелось отвести глаза и уйти под дождь, на любую дорогу, хоть обратно в старую жизнь.

Волосы — цвета пепла с прожилками первой седины — были собраны в тугую узел на затылке, и от этого казалось, что лицо обрамлено чёрной рамой зеркала. Она была одета во всё чёрное: длинное платье из плотной ткани, перехваченное в талии, старинная камея на шее — белая фигурка на чёрном камне, похожая на спящего мотылька. Единственный тёплый штрих — старое кольцо с гранатом на правой руке, тусклое, будто его полировали чужими пальцами столетие.

Она стояла на верхней ступеньке, ровная и неподвижная, и походила на то, чем была в действительности: на предмет, поставленный в этом доме вместо человека.

— Пройдёмте, — сказала она тем ровным голосом, в котором не было ни возраста, ни интонации. — Дождь усиливается, а мокрые гости пачкают паркет сильнее сухих.

— В доме три правила: не запирайте свою дверь на засов, не открывать восточное крыло и не отвечать, если ночью кто-то позовет вас по имени с улицы.

— Простите, — не выдержала Анна, — а почему нельзя запереть дверь?

Нирова посмотрела на неё так, словно эта мысль пришла ей впервые за много лет и была забавна.

— Потому что от запертых дверей призраки становятся любопытнее.

— Призраки, — повторил Сергей. Не спросил — повторил, как человек, который за пятнадцать лет службы слышал всё и готов услышать ещё немного.

— Вы слышали слово, — сказала Нирова. — Значит, начинать было неизбежно. Прощу.

Холл встретил их запахом пыли, остывшего камина и чем-то ещё — очень старым, как будто в доме хранили высушенные цветы в закрытых комнатах. Под ногами скрипел паркет в шахматную клетку. Вдоль стен тянулись зеркала в тёмных рамах — все, кроме одного, закрыты полотном. Стекло самого большого зеркала отражало их троих — но чуть медленнее, чем следовало: Сергей заметил это и промолчал, впервые за много лет чувствуя, что дрогнул.

Справа уходила вверх парадная лестница, перила её были залиты тонким слоем воска, будто её недавно натирали — и никому. Слева коридор вёл вглубь дома, и в конце его, на дальней двери, висел ржавый замок. Восточное крыло.

И тогда в холле загорелся свет. Точнее — кто-то.

Из тени у колонны выступил человек в безукоризненном чёрном фраке, с белым воротничком и серебряными часами на цепочке. С первого взгляда — джентльмен с фотографии столетней давности. Со второго — стало ясно, что фрак светится: слабо, ровно, как ночник, а края его тают в дымку. Но человек шёл так уверенно, что о дымке сразу забывали. Пахло от него сухими розами и погасшей свечой.

— Прощу вытереть ноги, — сказал он негромко. — Паркет старше вас всех вместе взятых, а мёртвые — народ брезгливый.

Марина вытерла ноги о коврик и только потом сообразила, что лучше бы сначала спросить.

— А вы... светитесь, — сказала она.

— С тысяча девятьсот третьего года, — согласился он без тени смущения. — Полагаю, это удобнее, чем нет.

— Вы мёртвый.

— Я мажордом, — поправил он. — Смертность не относится к деловым качествам. Аристарх Дорофеевич Ветлугин, мажордом усадьбы Нировых, с восемьдесят восьмого года, с небольшим перерывом на смерть. В тысяча девятьсот третьем я вышел к почтовому ящику и не вернулся. Обстоятельства забылись, обязанности — нет. Итак — прошу за мной.

Из дверей в конце коридора пахнуло тёплым тестом, и этот запах был единственным тёплым местом во всём доме. Оттуда вышла пухлая женщина в накрахмаленном платке, с закатанными рукавами; она оглядела гостей взглядом человека, чья вся жизнь прошла у чугунной печи, и пришла к неутешительному выводу.

— Живые у нас все худые, — сказала она. — Этак вы у меня помрёте и начнёте светиться, а я вам этого не прощу. Ужин в восемь. Не опаздывать: борщ сегодня наваристый, а будильника у борща нет.

— Прасковья Марковна, — представил Аристарх. — Кухарка усадьбы. С тысяча восемьсот девяносто первого года, с небольшим перерывом на девятьсот девятнадцатый.

— Голодный год был, — просто сказала Прасковья Марковна и исчезла в дверях, унося запах теста с собой, как знамя.

У входной двери стоял третий. Юноша в потёртой ливрее и белом шарфе, повязанном небрежно — но так, что становилось ясно: шарф не снимали уже очень давно. Ресницы у него были подмёрзшие, и в тёплом холле вокруг него тихо потрескивал иней.

— Тихон, — сказал юноша, когда на него посмотрели. — Швейцар. Буду встречать ваших... гостей. — Он замялся, подбирая слово, и выбрал самое безопасное: — Прибывших.

— А ты не мёрзнешь? — спросила Марина.

— Постоянно, — сказал Тихон. И это прозвучало не как жалоба, а как данность.

— Комнаты наверху, — сказал из темноты мужской голос. Из-за колонны выступил молодой человек в худе, с ноутбуком под мышкой, с бледным от бессонницы лицом. Виктор. Он внимательно осмотрел новичков и добавил: — Советую не соваться после заката вниз. И не задавать хозяйке вопросов про западную гостиную. Она врёт на этот счёт. Красиво врёт.

— А вы кто? — спросила Марина.

— Такой же гость, как и вы, — усмехнулся Виктор. — Только приехал раньше и потому уже знаю главное: бежать отсюда бесполезно, пока она не отпустит. А отпускает она, — он запнулся и посмотрел на закрытое зеркало, — не всех. Если считать по статистике — не отпускал ещё никого. Зато кормят прекрасно.

— Хакер? — угадала Анна.

— Бывший сотрудник, скажем так, — Виктор поправил ворот худе. — Взломал систему, которая стоила дороже этого особняка вместе с землёй под ним. Теперь меня ищут люди с юридическим образованием и без него. Вторые страшнее. Здесь меня не нашли. Пока.

— А здесь безопасно? — спросила Марина.

— Здесь платят жизнью за жизнь, — сказал Виктор. — Понимаете, в чём штука. Дом даёт всё: кровать, еду, тепло, полную анонимность. Хочешь — винный погреб, хочешь — библиотеку, хочешь — ванную с видом на мокрые деревья. Единственная валюта, которую он принимает, — работа.

— Какая работа? — спросил Сергей.

— Вы скоро узнаете, — Виктор впервые за вечер улыбнулся по-настоящему. — Мне, кстати, тоже скоро. С меня это ещё не потребовали.

Наверху, в своей комнате — а комната была размером с её прежнюю всю квартиру — Анна подошла к окну. За стёклами, в глубине сада, стоял фонтан — сухой, заросший, с камен-

ной девой, у которой отломаны руки. И показалось ей — или нет? — что в кругу света от единственного уцелевшего фонаря, на мокрой дорожке, кто-то стоит и смотрит на окно. Фигура не шевелилась. Когда Анна моргнула, фигуры не было. Остались только мокрые следы на гравии — босые, ведущие от фонтана к дому.

* * *

За полночь дом начал считать гостей: внизу хлопнула дверь. Потом ещё раз. И ещё — так, будто дом запоминал их по одному.

Екатерина прибыла с вокзала с одним дорожным чемоданом; десять лет тюрьмы приучили её входить в любое помещение так, будто она там прописана с рождения. Аристарх предложил ей снять обувь; она сняла, не глядя, — к наказанию привыкаешь быстрее, чем к обходительности.

— Прошу простить, что спрашиваю, — сказала Екатерина, разуваясь, — а здесь есть место, где можно спать с выключенным светом?

— Весь дом такой, мадам.

— Тогда я дома.

Дмитрий приехал на такси, расплатился наличными и пожелал таксисту не попадать в статистику. Холл он прошёл наискось, глазами проверяя углы, и сел так, чтобы видеть дверь, лестницу и окно одновременно. Агентов всегда выдаёт посадка: слишком удобная, слишком рабочая. Начальство потеряло к нему доверие после одной операции — той, про которую не пишут в отчётах, — и теперь Дмитрий искал место, где на него не открывается файл. В усадьбе у него не было даже файла.

Ольга вошла мягко, извиняясь перед дверью, и первым делом спросила, бывают ли тут ночные страхи.

— Ежедневно, мадам, — ответил Аристарх. — Обычно после ужина.

— Чудесно, — сказала Ольга. — Значит, у меня будет материал.

Андрей не приехал — пришёл пешком, сквозь дождь, с рюкзаком за плечами и войной внутри рюкзака. Тихон открыл ему дверь за три шага до стука. Андрей вошёл, помолчал и сказал, что в стенах ходят шаги. Тихон кивнул: ходят. Андрей спросил, много ли их. Тихон ответил, что достаточно.

Ирина остановилась на пороге и не могла пересечь его несколько секунд.

— Не могу, — сказала она. — Тут их стоят. Стоят стеной.

— Так и запишем: аншлаг, — сказал Виктор. — Билеты в партер раздаём бесплатно.

* * *

В час ночи их собрали в красной гостиной. Камин горел так, будто его разжигали с той поры, как построили дом, и с той поры его так и не разожгли. Нирова стояла у камина; Аристарх замер у двери, как люстра, которой положено молчать.

— Жизнь в этом доме бесплатная, — сказала Нирова. — И полная. Еда, кров, тепло, безопасность: того, кто ищет вас, здесь никогда не будет. Виктор это проверил на себе.

— Проверил, — подтвердил Виктор. — Не нашли. Даже стыдно как-то.

— Взамен вы работаете. К нам прибывают постояльцы, — она сделала паузу, и слово вышло из неё с трудом, как шомпол из ствола. — К нам прибывают мёртвые. Слуги их встречают, оформляют, дают комнату. А их дела ведёте вы. Вы — детективы для мёртвых.

— Поясните, — попросила Анна.

— Каждому, кто умер неправильно, полагается правда. Кто убил его, как и почему. Вы найдёте улики, сложите их так, чтобы им не осталось лазейки, и передадите живым — полиции, суду, печатям. Убийца должен получить наказание по закону. Дом не верит в самосуд: от крови здесь появляются новые постояльцы, а штат укомплектован.

— А если убийца уже мёртв? — спросил Дмитрий.

— Тогда вам придётся доказать это мёртвому, — сказала Нирова. — Бывает сложнее.

— А если откажемся? — спросила Екатерина.

— Отказ — тоже ответ. Но у него есть цена: дом перестаёт держать ваши вещи в тепле. Спросите у тех, кто жил здесь до вас... — она помолчала. — Впрочем, спрашивать некого.

— А способности? — Виктор наклонился вперёд, как человек, зашедший в казино не за игрой, а за системой. — Меня тут уверяли, что будут способности.

— К концу первой недели вы заметите в себе то, чего раньше не было, — сказала Нирова. — Способности приходят сами, как одежда по росту. Журналистка начнёт слышать слова, которые человек уже стёр. Полицейский увидит следы, которые никто не убирал. Художница начнёт видеть цвет чужой вины. Дальше — сами. Дар должен быть заработан, как и жизнь.

— А что полагается по умолчанию? — спросила Екатерина.

— Кровать, стол и ночь, которую вы наконец проспите, не оглядываясь, — сказала Нирова. — Остальное — за работу.

— А наши дела? — тихо спросила Анна. — Наши истории здесь тоже закрываются?

Нирова посмотрела на неё так долго, что за окном успел стихнуть ветер.

— В этом доме долги прощаются, — сказала она. — Но не раньше, чем вы научитесь закрывать чужие. Свои истории вы завершите последними. Потом передадите дело тем, кто приедет после вас, — и уйдёте жить дальше. Дом не держит отработавших.

Она поднялась, и камей на её шее дрогнула в отсвете камина, как спящий мотылёк, решивший вдруг проснуться.

— Спать, — сказала она. — Завтра у вас первый постоялец.

— Кто? — спросила Ольга.

— Тихон знает, — ответила Нирова. — Он всегда знает первым.

* * *

Ночью, когда все разошлись, Нирова стояла в западной гостиной перед закрытым зеркалом и тихо говорила, как говорят с тем, кого приучили слушать много лет подряд:

— Они приехали. Все девять. Слушай меня и не торопись. Сначала — страх. Потом — имена. Потом... — она усмехнулась едва заметно. — Потом ты наконец вспомнишь, как тебя зовут. То имя. То, которым кричали на площади, пока под ним разводили огонь. Меня зовут не Аделаида — меня зовут так, как называли до города, которого больше нет на картах. И ты помнишь его. Ты держишь его на дне колодца, как держат искру под водой.

За полуприоткрытой ставней восточного крыла что-то шевельнулось и замерло, ожидая своей очереди.

* * *

Глава вторая. Она идёт

Утро в усадьбе начиналось не со света, а с запаха. Снизу, сквозь старые половицы, поднимался тёплый, почти живой запах свежего хлеба — и дом просыпался. Хотя, строго говоря, дом не спал никогда: ночью Анна слышала, как где-то внизу скрипит кресло, а по коридору проходит свет — ровный, лунный, неспешный, как шаги того, кому торопиться незачем.

Завтракали в малой столовой, чьи окна выходили на мокрый сад. Прасковья Марковна расставляла тарелки с той деловитостью, с какой люди четверть века не дают повода усомниться в себе, — и деловитость эта была тем более убедительна, что рукавов у неё не было, а пар из-под крышки горшка поднимался без всякой печи.

— Живые у нас бледные, — объявила она, придвигая к каждому миску. — Блины есть. Кофе есть. Радио нет и не предвидится. Если кого интересует, где взяла сметану при отключённом холодильнике, — не интересуйтесь.

— Я интересуюсь, — сказал Виктор. Он сидел с ноутбуком и смотрел в экран так, как смотрят в пустой кошелёк. — Поймите правильно: я вскрыл систему, за разработку которой три конторы резали друг друга в судах. А здесь не ловит даже «Билайн». Я расцениваю это как личное оскорбление.

— Здесь ловят другое, — сказала Ольга, разламывая блин. — Например, настроение стола. С утра ты жалуешься на оператора связи, и все это знают без всякой сети.

— Это не телепатия. Это бытовая.

— Это завтрак, — сказала Прасковья Марковна. — Ешьте, пока тёплое. Гостям, которые вот-вот придут, должно остаться хоть что-нибудь, а то невежливо как-то — сначала всё съесть, потом их спасать.

— Каких гостям? — поднял голову Сергей.

Прасковья Марковна пожала плечами так выразительно, что стало ясно: вопрос задан не по адресу, а адрес уже переехал.

— Спросите у Тихона. Он первым знает. Всегда.

* * *

Библиотека занимала два этажа и пахла деревянной пылью, воском и почему-то грозой. Посреди зала на дубовом столе лежала книга — размером с дверь собаки, в коричневой коже, с медными застёжками. Книга Гостей. Нирова открыла её на середине: страницы сами перевернулись, как будто заранее знали, что им придётся.

— Порядок работы такой, — сказала она. — Прибывшего встречает Тихон и вносит в Книгу. Дело ведут двое или трое, остальные — подмога. Не обещайте гостю того, чего не сможете. И не лгите гостю вовсе: мёртвые слышат ложь кожей, как живые — сквозняк.

— А если улик нет? — спросил Дмитрий.

— Значит, они там, где вы ещё не искали, — сказала Нирова. — Закон сыска универсален. Времена меняются, улики — нет.

— А способности? — Виктор подался вперёд. — Уточню ещё раз, потому что жду с понедельника. Обещанные способности.

— Они войдут сами, — сказала Нирова. — Не дёргайте их, выйдут кривыми. Дар приходит, когда хозяин перестаёт его трясти, как ёлку под Новый год.

Она закрыла Книгу, и медные застёжки сощёлкнулись сами, без руки.

* * *

На третий день Анна впервые услышала лишнее слово.

Они с Сергеем разбирали кладовую у кухни, когда Прасковья Марковна, спиной к ним, перебирая банки, пробормотала: «Соль кончается». Анна кивнула и достала соль. Потом замерла: банки стояли ровно, полные, — соль кончатся не могла. А голос она слышала ещё

секунду — тонкий, извиняющийся, будто чужой человек прошептал ей в самое ухо из-под пола. Прасковья Марковна глянула на неё поверх банки и спокойно сказала:

— Начинается. У прошлой девочки тоже так. Не бойся: если дом даёт — дом же и объяснит. Ужин в восемь.

На четвёртый день Сергей, выйдя на крыльцо, увидел следы. Не на снегу — снега не было, было сыро. Следы на самом воздухе: в утреннем свете, от крыльца к воротам, тянулась цепочка продавленных лужиц, как будто кто-то тяжёлый прошёл здесь мгновение назад — и вес его не забрал дождь. Сергей постоял, посмотрел и вернулся в дом молча. Мысль его была честная: за пятнадцать лет он видел место преступления много раз, но впервые оно было сделано без преступника — и от этого выглядело страшнее любой крови.

На пятый день Марина, принимая от Ольги вторую чашку, вдруг отвела глаза. По Ольге расплывалось пятно цвета — Марина не знала, как назвать его, — тёмно-багрового, как вино, которое пролили на скатерть и которое впиталось в скатерть навсегда. «Это её вина, — поняла Марина и сама испугалась, что поняла. — О чём она не рассказала никому. О чём не расскажет».

Виктору дар не шёл.

— Пятый день, — жаловался он Екатерине в библиотеке. — Пять дней. Я взломал криптографию военного ведомства, а дом не выдаёт мне даже карманных часов с трофейной магией. Что я должен перестать трясти? Меня?

— Может, тебя, — сказала Екатерина, не отрываясь от книжки про садоводство, которую читала как протокол допроса.

А Тихон каждый день стоял у двери и говорил одно и то же:

— Она идёт.

— Кто? — спрашивали.

— Гостя. — И добавлял: — Долго идёт. Ей идти тридцать два года. Придёт почти вовремя.

* * *

На седьмой вечер в сумерках Тихон выпрямился, как новогодняя ёлка перед торжеством.

— Прибывшая, — сказал он.

Холод вошёл в холл раньше неё — сначала как сквозняк, потом как зима. По стёклам двери расцветал иней, и узоры его были не случайными, а старинными: мороз рисовал пальцы, ветви, буквы, кому что положено.

Дверь открылась сама, и в проёме стояла женщина.

Ей на вид было лет тридцать, и светилась она мягко, как лист бумаги над свечой, — не фраком Аристарха, ровным и парадным, а жалким и трепетным светом, какой бывает у вещи, которую вот-вот отнимут. На ней было пальто цвета мокрого асфальта; причёска её вышла из моды так давно, что снова стала вечной. В руках она держала авоську, в которой явно что-то было и в которой явно ничего не было.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я, кажется, опоздала. Но мне сказали, что здесь принимают опоздавших.

— Всех, — сказал Тихон и снял с неё пальто — из вежливости, потому что пальто было, а вешать его оказалось некуда: крючок прошёл насквозь. Тихон не смутился и повесил пальто в воздухе, где оно и осталось, послушно, как под замком.

— Лидия Аркадьевна Волкова, — представилась она. И, помолчав, добавила тем тоном, каким живые добавляют нечто, что мучило их тридцать два года: — Мне бы... мне бы надо поговорить с теми, кто тут за правду.

* * *

В красной гостиной Книга Гостей была открыта. Запись в ней проявлялась на глазах — тёмные буквы поднимались из бумаги, как тела со дна, и почерк был вытянутый, школьный, с большими буквами в начале строк:

«Волкова Лидия Аркадьевна. 1964 — 1994. Причина прибытия: неправильная смерть».

— Ты погибла в этом доме, — сказала Нирова не вопросительно.

— Тридцать два года назад, — подтвердила Лидия. — В апреле девяносто четвёртого. Я пришла сюда с женихом фотографировать усадьбу. Он был фотографом. Романтика: старинный дом, глухое окно, я в светлом пальто... Мы смеялись. Потом я поднялась по парадной лестнице — наверх, посмотреть залы. И... — она подняла руку к горлу, как живые делают перед тем, как сказать страшное. — Я не помню, как падала. Вот что я хочу вам объяснить. Я помню подъём. Я стояла на второй площадке и начинала спускаться. И навстречу мне по лестнице шёл человек, которого я не ждала. Не Витя. Витя остался внизу, у машины. Тот, кто шёл навстречу, — его я никогда не ждала здесь.

— Вы не разглядели лица? — спросил Сергей.

— Не разглядела. Я помню только, что у него на запястье было холодное — металл. Часы или цепочка. И что он... — Лидия осеклась и переглянулась с Нировой. — Я успела обрадоваться. Смешно, правда? Услышать шаги в пустом доме и обрадоваться, что ты не одна.

— Дело закрыли как несчастный случай, — сказала Анна, глядя в Книгу, где напротив имени Лидии само собой проявлялось примечание: «Расследование. Прекращено: признаков преступления не установлено».

— Допросили Витю и отпустили, — кивнула Лидия. — Ему было двадцать три, у него тряслись руки, и он всё время говорил «я», хотя я была рядом и он видел, что я не падала. Милиция решила: истерика, лестница, полированный паркет. Он не оправдывался. Он не оправдывался до конца своей жизни. Понимаете, что это значит?

— Что он не знал, кого оправдывать, — тихо сказала Ольга.

— Что он не оправдывался никогда. — Лидия подняла на них глаза, и в них впервые за вечер не было света свечи, а была живая, простая, страшная человеческая надежда. — Значит, он тоже не знает, кто это был. Тридцать два года он думает, что это с ним случилось. А я — что со мной. И мы оба неправы, потому что это случилось с тем, кто на лестнице. И он до сих пор ходит. Живой, тёплый, с холодным запястьем. Меня убил не тот, кого допрашивали. Меня убил тот, кто живёт в этом доме.

Стало тихо так, что слышно было, как иней растёт на стекле.

Все, даже не договариваясь, посмотрели на Аристарха. Тот не изменился в лице — впрочем, не изменился бы и при пожаре. Он поправил манжеты и произнёс с безупречной вежливостью человека, у которого готовы ответы на вопросы любой инстанции, живой или мёртвой:

— Полагаю, мне следует указать на очевидное: я живу здесь с тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года. Но алиби на девяносто четвёртый у меня нет — обстоятельства, увы, забылись. Как и многое в этой усадьбе. — Он поклонился Лидии. — Прошу простить. Я всегда считал, что встречаю гостей вежливо. Оказывается, некоторых — дважды.

— Сестра, — вдруг сказала Екатерина, — а чего ты ждала от нас? Ты хочешь, чтобы мы наказали убийцу по закону. Так закон тебя не знает. Тебя нет. Ты умерла в закрытом доме, который не числится на картах.

— А я и не хочу для себя ничего, — просто сказала Лидия. — Мне не надо, чтобы со мной стало как прежде. Со мной уже не станет как прежде. Я хочу, чтобы Витя перестал думать, что это он. Тридцать два года. По две пачки сигарет в неделю... я слышала, как он сегодня, у себя в мастерской, сказал помощнику: «Иногда мне снится усадьба. Не езжайте туда». — Она улыбнулась, и улыбка была горькая, как несолёный хлеб. — Он до сих пор возит мне цветы в апреле. На кладбище. Мёртвому человеку он не возил бы цветы тридцать два года, правда? Только невинному бывает так страшно.

— Дело № 1, — сказала Нирова, и медные застёжки Книги Гостей отщёлкнули сами. — Ведут дело журналист Анна, Дубов Сергей и Марина Руднева. Остальные — подмога. Первая улика перед вами: дом. Вторая: паркет. Третья — то, что никто из вас ещё не нашёл, но обязательно найдёт, потому что иначе дом не даст вам спать.

— А сроки? — спросил Дмитрий. — Рамка расследования?

— У мёртвых нет сроков, — сказала Нирова. — У вас есть. Мёртвые ждут, а вы живёте. Пока живёте.

* * *

Лидии отвели комнату на третьем этаже — она писалась сама, как только Тихон вёл её по коридору: дверь, обои, кровать. Комната была с окном на сад, и когда Тихон поклонился и отступил, Лидия вдруг сказала ему тихо:

— Ты вырос.

— Всякий надеется, — вежливо ответил Тихон, и ему пришлось сделать вид, что он не понимает, о чём речь. Иней на его шарфе к тому времени оттаял, и от этого Тихон чувствовал себя, как человек, с которого сняли шубу на морозе.

Уже глубоко за полночь, когда гостиные стихли, Анна сидела над Книгой, переписывая в блокнот всё, что Лидия успела сказать, — привычка журналиста не умирала, а, кажется, только начинала жить. И когда она дописала «холодное запястье — часы? цепочка?», рука её — не её рука, а рука Книги — продолжила строку сама:

«Он до сих пор здесь».

Анна закрыла блокнот. Потом открыла Книгу. Строки больше не было.

Наверху, в восточном крыле, за ржавым замком, что-то прислушалось к разговору — и, прислушавшись, сняло с вешалки чужое пальто.

* * *

Глава третья. Малы

На шестой вечер Тихон заметил их раньше всех — он всегда замечал первым, но на этот раз не сказал «прибывшие». Он сказал: «Малы». И это была самая точная сводка за весь день.

Первым шёл мальчишка лет четырнадцати в куртке, застёгнутой не на ту пуговицу. Тимофей Гвоздёв не оглядывался: оглядываться было незачем — сзади не осталось ничего, что притягло бы на его имя. Его забирали из одной семьи в другую трижды, и каждый раз забирали раньше, чем успевали дочитать: из каждого учреждения уходила строка «далее будет», обрывавшаяся на «далее». Умение слышать недочитанное пришло к нему не как дар — как привычка: тот, кого не дочитали, слышит всех, кого не дочитали. В усадьбу он пришёл, потому что ночью в парке услышал, как особняк читает себя по складам, — и пошёл на этот голос, как идут на имя.

Второй шла девочка лет шестнадцати, Варя Снегирёва, с узлом на плече, в котором звенела мелочь и лампочка. Бабушка читала ей вслух каждый вечер, и это было больше, чем традиция: это была строка, у которой не могло кончиться «продолжение». Когда бабушкин дом шёл под снос, вместе с ним пропала и строка — и Варя пошла по адресу из бабушкиной записки: «Если найдёшь дом, где держат место, — постучи трижды». С тех пор, как начала терять бабушку, она видела нити — линии, тонкие, бумажного цвета, тянущиеся от людей к вещам и от вещей к местам; нить вела её сюда не через дорогу — через горизонт.

Третья не говорила. Кира Лапина, тринадцать, пришла от города пешком — шла за звуком печатной машины, который никто, кроме неё, не слышит: каждая литера отзывалась в ней, как отзываются в памяти чужие слова. Голос у неё выгорел вместе с домом, в котором всё было сказанного. Зато она стала видеть пропуски: пустые места там, где не сказано слово. И держала их — ладонью, взглядом, всем собой, — потому что однажды за её молчанием пряталось целое слово, и молчание нельзя было сомкнуть, не потеряв его.

Тихон снял с них иней — которого на них не было, — и открыл дверь. Дверь в этом доме не спрашивает возраста: она спрашивает, дочитан ли ты. Трёх она впустила без единого вопроса.

* * *

В красной гостинной Книга Гостей раскрылась сама и вписала — тем самым школьным почерком, не спеша, по одной строке:

«Постоялец: Гвоздёв Тимофей. Возраст: четырнадцать. Причина прибытия: не дочитан».

«Постоялица: Снегирёва Варвара. Возраст: шестнадцать. Причина прибытия: бабушкина строка».

«Постоялица: Лапина Кира. Возраст: тринадцать. Причина прибытия: набор».

Нирова вошла без предисловий — не здороваться у неё получалось безупречно — и посмотрела на троих так, как смотрят на строку, которая наконец встала в набор ровно.

— Правила вы услышите от Тихона, — сказала она. — Я добавлю одно, для младших: чужую строку не дочитывают без спроса. У недочитанного есть право на тишину — его нарушают только издатели.

— А способности? — спросил Тёма, услышав слово раньше, чем оно прозвучало вслух.

— У вас они не будут «приходить», — сказала Нирова. — Они уже при вас. Дом их узнал раньше вас — дом вообще всегда узнаёт первым. Завтрак в восемь.

* * *

На седьмое утро способности встали в набор сами.

Тёма стоял у парадной лестницы и вдруг замер: перила ещё молчали, но по ним уже шло — по складам, с перехлёстом, как читает тот, кто не верит глазам: «...окно восточного...».

Он не сказал никому: чужую строку не дочитывают без спроса. Он просто запомнил, где она обрывается.

Варя увидела в холле две нити — старую, потемневшую, идущую от лестницы к восточному крылу, и новую, бумажного цвета, дрожащую на слове «дальше». Она молчала бы и дальше, если бы нити не дрожали у неё перед глазами, как провод на ветру.

Кира подошла к дальней двери с ржавым замком, подняла ладонь и замерла: в набранной табличке над замком не хватало литеры — и она держала место, не давая ему сомкнуться, до тех пор, пока не уверилась, что двери это не нужно.

— Младший набор, — сказала Нирова, глядя на них из конца коридора. — Взрослые раскапывают. Дети слышат первыми. Начинайте с малого. Малое в этом доме — всё.

Глава четвёртая. Четыре минуты

На восьмое утро Прасковья Марковна вынесла на стол гору блинов, и гора, к всеобщему удивлению, дымилась.

— Печь ещё не прогрелась, — сказала она, — а блины уже горячие. Не спрашивайте. Задавали вопрос — печь обиделась.

Лидия сидела за столом из вежливости: чашка в её руке не грелась, чай не остывал. Прасковья Марковна оглядела её долгим хозяйским взглядом — таким, каким проверяют, не дуть ли на суп, — и сказала без всякого перехода:

— Блинов не ешь. Ну и ладно. Зато могу предложить то, что тебе положено: память о запахах. В моей кухне есть запахи на любой год. Скажи, какой тебе нужен.

— Пирог с капустой, — тихо сказала Лидия. — В тот день мама делала пирог с капустой...

Она замолчала, поняв, что говорит о собственном ужине в прошедшем времени.

— Всё правильно, — строго сказала Прасковья Марковна. — О прошедшем и говорят в прошедшем. А об отсутствии еды у нас разговор отдельный. Через час будет отдельный разговор с запахом пирога. Идите работайте, у вас лестница.

Нирова вошла, не здороваясь, — не здороваться у неё получалось безупречно.

— Лестница, — сказала она. — Сорок четыре ступени. Тридцать два года. Начинайте не с людей: люди врут даже тогда, когда не хотят. Ступени врать не умеют. Идите, пока солнце стоит так, что видно всё.

* * *

Парадная лестница оказалась шире, чем помнилась Анне, — широкой её делала не геометрия, а тишина. Чёрный дуб ступеней был вылощен до мягкого блеска, перила лежали под воском, как лежит снег, который никто не заказывал.

Сергей стоял внизу и смотрел. Смотрел так, как смотрят в глубину воды, — и ступени начали проступать. Не туманными пятнами, как он ожидал, а следами: продавленными, точными, разложенными по времени, словно кто-то отсортировал тридцать два года и оставил их в порядке.

— Два потока, — сказал он глухо. — Наверх идут женские следы: туфля на каблуке, шаг лёгкий, бодрый. До тридцатой ступени — ни сомнений, ни замедлений. Навстречу ей идут мужские: тяжёлые, правый каблук стоптан внутрь. На тридцатой ступени этот человек стоял. Не шёл — стоял. Минуту, может, чуть больше. Потом развернулся — вот, смотрите: след разворота, каблук провернулся на носке. И дальше — навстречу ей.

— Он стоял и ждал, — сказала Анна.

— Он стоял и ждал, — согласился Сергей. — И ещё, — он помолчал. — Его следы начинаются на второй ступеньке сверху. Не с крыльца. Не с улицы. Он спустился из дома. В тот вечер в доме, кроме них, был кто-то ещё.

Марина поднялась на площадку, где это случилось, и остановилась, прищурившись, как художник, которому показали некрасиво написанный портрет. Ей не нужно было ничего трогать — цвет висел над ступенями сам, плотный, как туман над рекой.

— Тут стоял он, — она кивнула на мужские следы. — И цвет... это не вина. Я ждала вины — думала, у убийцы она чёрная, тяжёлая, как у Ольгиных пациентов. А тут страх. Холодный, старый, как ржавая вода. Он не виноват, что убил. Он виноват, что испугался — и всё равно это страх, а не раскаяние. — Она посмотрела дальше, туда, где нашли тело. — А тут... удивление. Просто удивление. Она до последнего не поняла, что с ней происходит.

— То есть он не собирался её убивать? — спросил Дмитрий.

— Он собирался, что она уйдёт, — сказала Марина. — А она не ушла. И тогда он испугался сильнее.

Анна всё это время держалась за перила. И перила, против всякой вероятности, заговорили.

Сначала это был просто голос — мужской, молодой, сорванный:

«Он был в доме! Я видел, как у окна на втором этаже стоял человек! Я закричал, я стучал, но он ушёл от окна, а я побежал наверх — я нашёл её уже...»

Потом второй голос — вялый, служебный, с присвистом от сигареты:

«Успокойтесь. Вы выпили? В темноте всё мерещится. Труп на лестнице, женщина в темноте, тёмный дом — вы сами понимаете, как это выглядит. Подпишите здесь. И не возвращайтесь к этой истории, парень. Она никому не нужна.»

Потом было самое страшное — не слова, а звук. Звук, которым стирают: что-то вроде того, как заклеивают окно листом бумаги на всю зиму. Слова ушли под бумагу. Но Анна успела расслышать начало фразы, которую молодой голос успел договорить:

«...окно восточного...»

И на «восточного» бумага легла до конца.

— Что? — спросила Марина, глядя на её лицо.

— Витя видел человека в окне второго этажа, — сказала Анна. — В показаниях этого нет — это стёрли, я слышу, как оно звучало, прежде чем его стёрли. И он назвал окно. «Окно восточного...» — дальше не слышно. Стирала уже начисто.

Все медленно повернулись налево — туда, где в конце коридора висел ржавый замок.

* * *

В библиотеке Нирова выслушала отчёт, не перебивая, — и это было хуже, чем если бы перебивала.

— В апреле я не натираю перила, — сказал Аристарх, когда речь зашла о воске. — Полагаю, следует это заявить прямо: не натираю и никогда не натирал. Однако перила всегда натёрты к апрелю. К девятому, если быть точным.

— Значит, натирает кто-то другой, — сказал Сергей.

— Полагаю, что дом, — сказал Аристарх с той же непоколебимой вежливостью.

— Дома не натирают перила.

— Как вам будет угодно, сэр. Полагаю, наши разногласия о пределах возможного будут продолжаться всё время вашего пребывания здесь, и это, в общем-то, живительный аспект.

Сергей положил на стол складной нож и срезал с перил тонкую стружку — не сверху, а насквозь. Слои воска легли на стол, как спил дерева: тонкие, годовые. Он считал их вслух.

— Тридцать один. Тридцать два. Слои накладывались каждый апрель — тридцать два раза. И вот, — он указал пинцетом, — на глубине второго слоя сверху... нет, вот здесь, на глубине того самого года — царапина. Тонкая, металлическая. Кто-то зацепил перила браслетом или цепочкой. И в царапине, — он наклонился, — застряла нить. Шерсть, серая, с люрексом. Девяностые. Она пролежала в воске тридцать два года, как муха в янтаре.

— Дом не хранит улики, — сказал Дмитрий. — Дом хранит апрель.

— Он хранит то, что я велела забыть, — сказала Нирова негромко. И это была первая фраза за вечер, в которой слышалась интонация.

Она подошла к окну, за которым темнело восточное крыло.

— Восточное крыло не открывать, — сказала она. — И в его окна не смотреть. Ни днём. Ни — особенно — ночью.

— Это запрет или предупреждение? — спросил Дмитрий.

— Это оба, — сказала Нирова и вышла.

За её спиной медные застёжки Книги Гостей щёлкнули сами — так закрываются двери, за которыми не желают, чтобы слушали.

* * *

Виктора нашла Екатерина. Он сидел в кресле неподвижно, руки на коленях, взгляд в стену, — так, как учили не трясти дар.

— Ты восемь часов сидишь как почтовый ящик, — сказала она.

— В том и метод, — не поворачивая головы, ответил Виктор. — Екатерина Станиславовна, донесу вам главную мысль своей научной программы: дар ко мне не идёт, потому что я слишком стараюсь. Я перестарался за пять лет в профессии, где стараться — значит дышать. Здесь я решил попробовать противоположное: полное бездействие. Сорок минут я не двигался. Я достиг нирваны. Нирвана не дала мне ничего, кроме идеи открыть хотя бы браузер.

— Может, тебе дар не положен.

— Мне не может не быть положено. Я — наиболее квалифицированный кандидат в этом помещении.

И тут ноутбук включился сам.

Экран загорелся без питания, без сети, без своей электронной почты, — просто свет, как фонарь в тумане. На рабочем столе открылась папка, которой не существовало ни в одной базе данных мира, потому что бумаги такого рода оцифровке не подлежали:

«Архив. Дело 47/1994. Волкова Л. А.».

Виктор медленно перевёл взгляд с экрана на Екатерину.

— Я не трогал, — сказал он сдавленно. — Оно само.

— Потому и само, — сказала Екатерина. — Читай.

Он читал, и пальцы у него подрагивали — не от страха, от жадности. Протоколы допроса, которых не было в архивах. Фото, которых не прикладывали к делу. И на последней странице — лист, подшитый задом наперёд, с записью, сделанной чужой рукой, небрежно, на полях:

«Свидетель В. отказался от показаний. Повторно допрошен 19.04.1994. Отказ подтверждён».

— Он не отказывался, — тихо сказала Екатерина, читая через его плечо то, что Анна слышала на перилах. — Он кричал. Его стёрли.

Виктор сглотнул и сделал то единственное, что умел делать профессионально, — начал копировать. Копировалось всё, включая воздух: файл рос, не заканчиваясь, как будто архив, который он вскрывал, был глубже, чем сам дом.

* * *

За полночь Анна сидела у окна с блокнотом. Дописала «нить — экспертиза. Витя жив. Окно восточного...» — и не успела поставить многоточие.

С улицы позвали:

— Анна.

Она замерла. Голос был знакомый — слишком знакомый: так зовут человека, с которым не спали, а делили беду. Так её звал Марк, который пропал в апреле, — Марк, телефон которого отключился в один день с его жизнью.

— Анна.

Она сжала губы. Три правила. Не отвечать, если зовут по имени с улицы.

— Анна. Я нашёл тебя.

Голос повторил ещё раз — и умолк. По гравию пошли шаги: босые, мокрые, неторопливые — туда и обратно, туда и обратно, как у часового.

Анна сидела, не разжимая губ, до тех пор, пока рассвет не сделал гравий серым. Она не ответила.

Но и уснуть не смогла — потому что дом, который слышал всё, включая слова, стёртые тридцать два года назад, в эту ночь сделал вид, что не слышит ничего.

* * *

Глава пятая. Живой

* * *

Витя приехал на следующее утро.

Тихон выпрямился у двери за час до того, как колёса хрустнули на гравии, и сказал своё привычное:

— Прибывший.

— Живой? — уточнила Екатерина, спускавшаяся с кружкой.

— Живой, — сказал Тихон и почему-то вздохнул. У живых гостей всегда было больше хлопот: они дрожали, боялись и разговаривали, а мёртвые вежливо проходили к Книге.

Машина остановилась у крыльца. Из неё вышел мужчина — лет пятидесяти пяти, в выцветшем сером пиджаке, с сумкой через плечо и с фотоаппаратом на груди, старым, плёночным, с потёртой кожей на кнопке. Он поднялся по ступеням так, как поднимаются по ступеням, которые видели во сне тридцать два года подряд: медленно, забывая дышать на середине.

— Я получил письмо, — сказал он вместо приветствия. Голос у него был ровный, привыкший к классу детей и к выставочным залам. — Понимаете, тридцать два года я искал этот дом. Искал по картам, по архивам, по старикам из соседних деревень. А дорогу мне прислали в конверте. Без марки. Без обратного адреса. Одна строка: «Усадьба Нировых. Приезжайте. Она ждёт».

— Мы тоже получили, — сказала Анна тихо.

— Позвольте представиться. Виктор... — он осёкся, глядя на Виктора-хакера, вышедшего в холл с ноутбуком. — Виктор Андреевич. Фотограф.

— Виктор, — сказал Виктор-хакер. — Тоже, представь, Виктор.

— Два Виктора, — восхитилась Марина. — Дом мог бы хотя бы предупреждать.

— Ничего, — сказал Витя-фотограф с усталой улыбкой человека, который уже ничего в жизни не может удивить, — я не из ревнивых. Я и так проиграл один раз.

* * *

Лидия не спускалась. Она стояла на третьем этаже, у перил, и смотрела вниз сквозь перила, как смотрят сквозь стекло аквариума: там, внизу, двигались живые, пахли кофе и мокрым пиджаком, и среди них был голос, который она узнавала раньше имени.

— Слушай, — сказала она Ирине, тихо, в самое ухо. — Он кашляет в начале фразы. Всегда кашлял. Сначала «кхм», потом говорит. Тридцать два года — а привычка не умерла. Умерла я, а привычка жива.

— Поговорите с ним, — сказала Ирина.

— Я не могу спуститься первой. Понимаешь? Тридцать два года я живу с одним вопросом: он смотрел, как я падаю? Если я спущусь и посмотрю ему в глаза — я узнаю. А если не спущусь — могу ещё жить в неизвестности. Неизвестность, оказывается, комфортнее правды. Кто это придумал?

— Дом, — сказала Ирина просто.

* * *

В красной гостиной Витя сел на самый краешек стула, как человек, не уверенный, что его посадили насовсем. Нирова не вышла. Прасковья Марковна принесла чай, заглянула в чашку гостя и сказала удовлетворённо: «Живой. Пар идёт» — и ушла, унося свой пар.

— Расскажите о той ночи, — попросила Анна. — С самого начала. Мы не из полиции. Вы ничего не должны нам, но если расскажете — мы обещаем одно: мы не уйдём, пока не узнаем, кто стоял на той лестнице.

И Витя рассказал. Тридцать два года он не рассказывал никому — и слова выходили из него, как вода из треснувшего кувшина: сразу, горячие и мутные.

— Мы приехали фотографировать усадьбу. Лида всегда мечтала... она говорила: «Хочу свадебные в старом доме. Пусть дом нас встретит раньше свадьбы». Смешно. Дом встретил. Мы гуляли, я снимал — вот, сохранились кадры, — он вынул из сумки конверт с фотографиями и разложил их на столе, как раскладывают карты, которые не выиграешь. Лидия на лестнице. Лидия в саду. Лидия смеётся. — Он остановился на одной. — А это последнее, что я снял. Она на второй площадке машет мне рукой. Я отошёл к машине — за вторым объективом. Минуты. Я был в машине четыре минуты.

— Потом вы слышали? — спросил Сергей.

— Я слышал, что стало тихо. Это хуже, чем крик. Потом я побежал. Я видел... — он сжал пальцами край стола. — Я видел человека у окна второго этажа. Восточное крыло, окно в торце. Он стоял и смотрел вниз, на лестницу. Не на меня — на лестницу. А потом я нашёл Лиду внизу, и всё... дальше всё, что вы знаете. Приехали, улица, машина, вопрос — пил ли я. Не пил. Я вообще не пил, я фотограф, у меня руки. Но там был следователь... старший лейтенант. Он говорил со мной не как с человеком. Он говорил со мной как с бумажкой, которую надо заполнить правильно. Он говорил: «В темноте мерещится. Подпишите». И я подписал.

— Он кричал, — вдруг сказала Анна. — В протоколе записано «отказался от показаний». Но вы кричали. Вы говорили про человека в окне.

Витя медленно поднял на неё глаза.

— Откуда...

— Неважно, — сказала Анна. — Важно, что мы знаем: вы говорили. И вас стёрли. Слушайте дальше, скажу то, что знаю я: следователя звали не случайно. Он тягал вас по судьбе тридцать два года — и это было не дело службы. Это было по указанию. Кто-то не хотел, чтобы в деле появился человек в окне. У нас есть нить, вынутая из воска перил. Серая шерсть с люрексом. Девяностые. У кого-то из тех, кто был в доме, был такой свитер.

— Серый с люрексом, — повторил Витя ровно, как человек, который узнаёт своё собственное имя в списке чужих покойников. — Я знаю этот свитер. Я снимал его на плёнку. В апреле девяносто четвёртого в усадьбе был смотритель. Павел Степанович. Рогов. Дом сторожил. Мы с Лидой думали, он здесь и живёт, спрашивали у него дорогу — он из окна на нас посмотрел и не ответил. Просто смотрел. Я думал — ворчливый старик. А он, выходит, смотрел не на нас.

— Где он теперь? — спросил Дмитрий.

— Умер, — сказал Витя. — В прошлом апреле. Хоронили всем посёлком. Тихий был человек, никому не вредил, огород копал. Только... — он помолчал. — Только на похоронах его племянник сказал одну странную вещь. Что дядя каждую весну, в апреле, брал в руки кусок воска — и натёкал им перила. Говорил: чтобы лестница не скрипела. Чтобы никто не слышал, как по ней ходят.

Стало очень тихо.

— Он натёкал перила воском, — повторила Марина медленно. — Каждую весну. В апреле. Чтобы не слышали шаги.

— Либо он очень заботился о тишине, — сказал Сергей. — Либо он очень заботился, чтобы апрель был забыт. Дом хранит апрель, — он посмотрел на Нирову, которая вошла в комнату так, что никто не услышал её прихода. — А перила — это летопись.

— Воском нельзя записать слово, — сказала Нирова. — Но воском можно запечатать. Прежде чем читать летопись дальше, вам следует решить, готовы ли вы к тому, что написано на последней странице.

— Мы готовы, — сказала Анна.

— Вы не готовы, — сказала Нирова ровно. — Но вы пойдёте всё равно. Это и называется «расследование»: идти туда, куда не готов, и не оборачиваться.

* * *

Вечером Анна нашла Нирову в западной гостиной, у закрытого зеркала.

— Меня звали с улицы, — сказала Анна. — Голосом Марка. Он пропал в апреле. В один день отключился телефон, в один день кончилась его жизнь. Я хочу знать: он пропал или умер?

— С этим домом, — сказала Нирова, не оборачиваясь, — «или» не работает. Он и пропал, и умер, и... это ещё не всё. Доделайте дело Лидии. Дом не открывает вторую дверь, пока не закроется первая. Иначе получается не порядок, а хаос, а хаоса, поверьте, в этом доме хватало и без вас.

— Кого вы ждёте за этим зеркалом? — тихо спросила Анна.

Нирова повернулась. В глубине её глаз искра колодца качнулась — как качается отражение, когда в воду бросают камень.

— Того, кто помнит моё настоящее имя, — сказала она. — Спите. Завтра дом откроет последнюю страницу дела Лидии. И она вам не понравится.

* * *

Ночью Книга Гостей раскрылась сама. Медные застёжки отщёлкнули, страницы перевернулись — и на чистом листе выступили буквы, тёмные, вытянутые, школьным почерком:

«Рогов Павел Степанович. 1952 — ...»

Даты смерти не было. Вместо неё — многоточие, свежее, как только что написанное чернилами, которые ещё не высохли.

И Тихон, стоявший у двери, снял с вешалки чужое пальто, повесил его в воздухе — где оно и осталось — и сказал с той же безукоризненной вежливостью:

— Прибывший идёт пешком от автостанции. Придёт к рассвету. Мне кажется, — он посмотрел на Книгу, — ему лучше не мешать.

* * *

Глава шестая. Отказ

Рассвет был серый и низкий, и в таком свете усадьба походила на собственный негатив: чёрное стало белым, мокрый гравий — серебряным, а дом, до того похожий на человека с завязанными глазами, теперь словно распахнул их.

Тихон стоял у двери с половины пятого. Никто его не просил, но швейцар знал своё дело: прибывший не должен мёрзнуть на пороге. Живые — особенно: они дрожат, а дрожь невозможно принять по форме.

— Прибывший, — сказал он, когда в сером воздухе обозначилась фигура.

Старик шёл от автостанции пешком, как и было обещано, — семь километров по гравию, и шёл так, будто дорога знала его лучше, чем он сам. На нём было старое ватное пальто, выцветшее до цвета дороги, по которой он шёл. В руке он нёс жестяную банку из-под гуталина — бережно, двумя руками, как несут деньги или ключи от дома, в котором больше не живут.

— Рогов Павел Степанович, — сказал он, поднимаясь на крыльцо. Голос был живой, хриплый, с одышкой. — Смотритель. Уже, полагаю, бывший. Мне написали. Не помню, кто. Письмо? Или мне приснилось, что письмо было? Семь километров я спорил с этим вопросом. Спор проиграл: ноги не обсуждают. Ноги идут.

— Вы живой, — заметила Екатерина, глядя, как от его дыхания на холоде поднимается пар.

— К сожалению, — сказал Рогов просто. И это «к сожалению» прозвучало так, что спорить не захотелось.

Прасковья Марковна оглядела гостя хозяйским глазом — таким, каким проверяют, не дуть ли на суп, — и вынесла приговор:

— Живой. Кашу ест. Садись, старик. Пусть светает, у меня каша горячая, а внутри у тебя, я вижу, холодно давно.

Рогов сел и ел. И пока он ел, гости сидели молча — так сидят вокруг человека, который ещё не знает, что сейчас начнётся.

* * *

В красной гостиной Нирова не вышла: она стояла за приоткрытой дверью, и Аристарх, замерший у стены, единственный понимал, что хозяйка слышит каждое слово.

Сергей начал как в прежней жизни — только протокола у него теперь не было, а был блокнот Анны.

— Павел Степанович. Девятое апреля девяносто четвёртого года. Вы были в доме?

— Был, — сказал Рогов без паузы, как человек, который тридцать два года репетировал этот ответ перед зеркалом. — Я там и жил. В восточном крыле, в комнате при чулане — смотрителей с двадцать второго года держали там. Платили не деньгами. Квартирой и тишиной.

— Расскажите про тот день.

И Рогов рассказал. Он говорил медленно, по складам, как человек, который тридцать лет складывал эти слова в жестяную банку — и теперь высыпал их на стол.

— Они приехали фотографироваться. Я увидел из окна: на капоте сидела девушка в светлом пальто и смеялась. Молодые. Я не вышел — с осени старался не попадаться гостям на глаза. Потому что... — он запнулся. — Потому что видел то, чего видеть не полагалось.

— Что именно? — спросил Дмитрий.

— Это потом, — отрезал Рогов. — Сначала — день. Дальше она пошла наверх. Я слышал её каблучки — лёгкие, бодрые. А потом я услышал... — он поставил жестяную банку на колени и накрыл её обеими ладонями, как накрывают живое. — Потом я услышал, как её позвали. Голосом. Не моим — я в тот час был внизу, в чулане, грел чайник. Голос позвал её по имени, и

она отозвалась. Она остановилась и сказала в темноту: «Я здесь». Вы понимаете? Она ответила. Как отвечают, когда зовут домой.

— Третье правило, — прошептала Анна.

— Тридцать два года оно третье, — сказал Рогов. — Третьим и было поставлено — третьим и стоит.

— Что было дальше? — спросил Сергей.

— Дальше — шаг. Один-единственный. Она обернулась на голос, отступила — и ступень кончилась. У стены паркет скошен, я дважды просил у мадам денег на ремонт. — Рогов поднял глаза. — Никто её не толкал. Я стоял на тридцатой ступени, я повернулся на её крик и успел увидеть, как она летит. Я был ближе всех к ней в эту секунду — и дальше всех от того, что её убило. А убило её вот это. — Он открыл жестяную банку. Внутри, на вате, лежала мягкая, стёртая свечка воска. — Тридцать два года я натираю перила в апреле. Не для того, чтобы шагов не было слышно. Для того, чтобы ОН не слышал, когда по лестнице идут живые. Чтобы не начинал звать.

Стало тихо. Даже камин, который горел без дров, поумерил пламя.

— Кто — он? — тихо спросил Дмитрий.

Рогов посмотрел на дверь, за которой стояла Нирова. Потом — прямо перед собой.

— Не знаю. Знаю, что в крыле нельзя жить без воска. Знаю, что в апреле он просыпается. Знаю, что в девяносто четвёртом он позвал по имени девушку, которая ответила. И знаю, что после её смерти он затих. Так затихает, — Рогов подбирал слова осторожно, как трогают острые осколки, — когда сыт.

— Вы молчали тридцать два года, — сказал Сергей. — Почему?

— Потому что в семьдесят девятом я отсидел три года за кражу, и когда пришла милиция, я понимал, с кого спросят первым. Следователь приехал не сам. Его привезли. Машина была казённая, но не из района. Он привёз конверт. Я отказался. Дважды. На третий раз конверт не оставили — оставили номер телефона и сказали одну фразу: «Пожалей хозяйку дома». — Рогов усмехнулся без веселья. — И я пожалел. До сих пор жалею. Только уже не знаю кого.

— Конверты, — вдруг сказал Витя. — Вы получали конверты.

— Каждый апрель. Тридцать два конверта, тридцать два апреля. Без марок, без адреса. Внутри — деньги. А снаружи, на обороте, нарисовано... — Рогов осторожно вынул из внутреннего кармана сложенный лист, развернул. На выцветшей бумаге, уверенной рукой, была нарисована одна фигура: мотылёк.

Все посмотрели на камею на шее Нировы. Белая фигурка на чёрном камне перестала притворяться спящей.

— Конверты кончились в прошлом апреле, — сказал Рогов. — Тогда посёлок и решил, что я умер. Хоронили — не помню такого. Умер тот, кто платил. Или тот, кто просил молчать. Я не умею различать эти вещи, но тридцать два года живу с ними как с соседями по стенке.

Марина смотрела на старика, и цвет, стелющийся над ним, был не страх и не вина — а усталость. Серая, старая, тридцатилетняя усталость человека, который не спал.

— Вы не убивали, — сказала она тихо. — Вы просто тридцать два года стояли рядом с этим.

— Это хуже, мадам, — сказал Рогов с вежливой старомодной точностью. — Убить можно раз. А стоять рядом — каждую ночь.

* * *

Сверху, с третьего этажа, было слышно всё. Лидия стояла у перил, и руки её, если бы у рук было сердце, стучали бы в замёрзшие пальцы.

— Идите, — сказала ей Ирина. — Не потому что надо. Потому что хотите.

— Я хочу тридцать два года, — сказала Лидия. — Не умела только.

Она спустилась. Витя поднялся на звук её шагов — хотя у шагов не было звука, — и встал так, как встают, когда всё, во что не верили тридцать два года, входит в комнату в светлом пальто.

— Лида.

— Кхм, — сказала она. — Ты всё так же кашляешь перед фразой. Я слышала тебя с третьего этажа, Витя. Узнавала раньше имени. Привычка, видишь ли: моя умерла вместе со мной, а твоя — нет.

Витя сел. Точнее — его ноги сделали это за него.

— Я думал, ты падаешь из-за меня. Что я отпустил твою руку... что я ушёл к машине, когда надо было...

— Никто меня не толкал, — сказала Лидия. — Никто и не был рядом. Я ответила тому, кто позвал. Глупо, правда? Услышать своё имя в чужом доме и радостно обернуться. Ты не виноват. Ты вообще самый невинный человек, которого я знаю: тридцать два года — и ни одной вины. Это надо уметь.

— А кто позвал? — спросил Витя. — Ты знаешь теперь?

— Нет, — сказала Лидия. И это было первое, что она сказала неправдоподобно ровно. — Но я знаю, что мне больше не страшно. Это уже много для мёртвой.

В дверях возникла Прасковья Марковна с блюдом. Пирог с капустой. Запах пошёл по гостиной — тёплый, живой, из того самого года.

— Пахнет как тогда, — сказала Лидия и глубоко, по-живому, вдохнула. — Мама делала пирог с капустой. Я успела забыть, что у мамы были руки.

— Теперь знает и моя печь, — сказала Прасковья Марковна. — У неё память лучше моей памяти. Ешь, барышня. Не можешь — так нюхай. Нюхать тоже положено.

Витя достал из сумки конверт с фотографиями и вынул последний. Лидия на второй площадке, машет рукой.

— Это последнее, что я снял, — сказал он. — Возьми. Я тридцать два года не давал его никому — думал, оно всё ещё ждёт тебя.

Лидия взяла фотографию — и бумага отдала ей тепло, как отдают его перчатке, — и посмотрела на себя.

— Смешно, — сказала она. — Я машу. А ведь я уже тогда слышала, что меня позвали. Просто подумала — это ты. — Она подняла на него глаза. — Самая дорогая ошибка моей жизни: перепутать дом с тобой.

* * *

Утром дело закрыли — так закрывают в этом доме: Книга Гостей щёлкнула застёжками, страница дела № 1 перевернулась сама, и на ней проступили две строки, одна под другой:

«Причина прибытия: неправильная смерть. Причина ухода: правильная».

— Дело № 1 закрывается, — объявила Нирова, появившись из дверей, как появляется не человек, а погода. — Рогов Павел Степанович: восковые обязанности дома более не требуются. Лидия Аркадьевна Волкова: сопровождение. Тихон.

— Слушаю, — отозвался Тихон из холла.

Пальто Лидии впервые за тридцать два года снялось с воздушного крючка само — вещь отпустила её. Тихон открыл входную дверь, и в холл вошло утро — настоящее, серо-золотое, с запахом мокрой коры.

— Тихон, — сказала Лидия на пороге. — Ты вырос. Правда вырос. Не спорь со старшими.

— Всякий надеется, — вежливо сказал Тихон, и иней на его шарфе к тому времени оттаял совсем.

Лидия шагнула в свет — и не исчезла, а вышла: как выходят в сад за пирогом. Только на пороге она обернулась к Вите:

— Не в апреле приезжай. Мёртвым приятно, когда их помнят не по расписанию.

И дверь закрылась мягко, как закрывается книга.

Витя постоял, потом достал фотоаппарат и — впервые за тридцать два года — снял крышку объектива. Сфотографировал холл. На снимке, когда он проявится, не будет никого. Он будет это знать и всё равно хранить.

— Уезжаете? — спросила Марина.

— Уезжаю, — сказал Витя. — Мне теперь есть что принести на то кладбище. Не цветы — правду. Она, между нами, тоже цветёт. Только медленно.

— Рад был, — сказал Виктор-хакер. — Не встретимся.

— Не обманешь, — усмехнулся Витя-фотограф. — Встретимся. На снимках. Вы у меня все получились — ещё до того, как приехали.

А в конце коридора, у ржавой двери, умолк сквозняк, который тянул из-под неё тридцать два года. Впервые за много лет восточное крыло стало тихим. Тихо — в этом доме — значило одно из двух: либо всё хорошо, либо всё уже решено без вас.

— Мне больше не натирать? — спросил Рогов, глядя, как меняется в доме воздух. — Тридцать два года по апрелю. Рука привыкла.

— Дом теперь сам, — сказала Нирова. — А вам, Павел Степанович, пойдёте, покажу, где жила ваша память. Приезжайте в сентябре: у нас там будет тепло.

* * *

Нирова ждала Анну у Книги Гостей — как ждут не гости, а продолжение.

— Дело № 1 закрыто, — сказала она. — Первое дело всегда прощает ошибки: на нём учатся. Теперь я отвечу на твой вопрос, который ты задавала мне в западной гостиной. Твой Марк.

Анна не спросила «откуда вы знаете». В этом доме вопросы «откуда вы знаете» стоили дороже ответов.

Нирова коснулась страницы — и она проявилась. Тёмные буквы поднялись из бумаги, как тела со дна:

«Дело № 2. Постоялец: неизвестен. Причина прибытия: неправильная жизнь».

— Неправильная жизнь? — переспросила Анна. — Так не бывает.

— Бывает, — сказала Нирова. — Это хуже неправильной смерти. С неправильной смертью мёртвые приходят к нам — понятно, что с ними делать. А неправильная жизнь ходит среди живых и не знает, что она уже умерла для всех, кроме дома. Скоро узнаешь. Тихон!

— Прибывший, — отозвался швейцар из холла, хотя в холле никого не было. И добавил то, отчего у Анны похолодели ладони: — Уже близко. Идёт от фонтана. Босиком.

За окном, в глубине сада, в серо-золотом утре стояла фигура — та самая, которой не было на свете. И фонтан, сухой, заросший, с каменной девой без рук, впервые за столетие потёк.

Глава седьмая. Босиком

* * *

Фонтан запел ночью.

Вода, которую дом держал взаперти столетие, заговорила в полночь — сначала тихо, как говорят сквозь сон, потом в полный голос, как река, которая больше не собирается никого слушаться. Анна слышала этот звук в темноте и не могла решить, гроза это или счёт какой-то древний, который дом наконец начал выставлять.

А Тихон, стоявший на посту, снял иней с шарфа — единственный раз за столетие — и произнёс в пустоту холла:

— Прибывший. Уже близко. Идёт от фонтана.

И добавил после паузы, на которую решился не сразу:

— Босиком.

* * *

Марк Вейс вошёл в холл, когда часы пробили два. Вода стекала по его воротнику и капала на паркет — и паркет впитывал капли, как песок, потому что у мокрых гостей в этом доме было своё место, и место это было не здесь.

Он не дрожал. Вот что заметила Анна первой, стоя на верхней ступеньке лестницы: он не дрожал, хотя вода была ледяная и апрельская. Он оглядывал холл внимательно, деловито, как человек, приехавший в командировку и недовольный гостиницей.

— Анна? — сказал он, подняв голову. И просветлел: — Ну и ну. Я нашёл тебя раньше, чем ты меня. Ты как всегда в гуще. — Он посмотрел на часы, которых у него не было, и нарисовал их в воздухе жестом. — Двенадцатое, да? Ты обещала созвон в семь. Я вёрстку захватил, там у нас проблемы со второй полосой... — он достал из кармана пиджака лист, мокрый насквозь, и лист рассыпался в руках волокнами. — Неудобно так. Придётся без верстки.

Анна не отвечала. Она стояла, вцепившись в перила, и перила были тёплые, а всё остальное — нет.

— Ты умер? — наконец сказала она тем голосом, которым спрашивают о погоде, потому что иначе не выговорить.

— С чего вдруг? — Марк улыбнулся своей редакторской улыбкой, которая означала «не паникуй, у нас дедлайн». — Я приехал за вёрткой. И за тобой, если честно. Все ищут тебя, Анна. Все. — Он помолчал и добавил с той же лёгкостью, с какой пишут заголовок: — Я как раз ехал сюда. Ты же писала про усадьбу Нировых. Я нашёл адрес в твоих заметках. Что за лицо у тебя? Ты чего?

И тогда сверху, из темноты третьего этажа, где уже который день стояла и слушала Лидия, раздался голос — спокойный, вежливый, голос человека, у которого всё это уже было:

— Он не знает.

Анна подняла голову. Марк оглянулся — но Лидию он не увидел, потому что живые не видят того, чего не должны видеть, пока не готовы. Лидия сказала только это и ушла обратно в свою комнату. У мёртвых свои разговоры с живыми: короткие, как телеграммы.

* * *

В красной гостиной Нирова объяснила всё — коротко, как объясняют правила игры, в которую уже играют, нравится тебе или нет.

— Мёртвых к нам приводят отнятые смерти, — сказала она. — А застрывших — жизнь, отнятая не до конца. Тело этого человека где-то лежит и дышит. Машиной поддерживается или просто спит. А душа ушла туда, где он не успел закончить. Понимаете, где? В работе. В вёрстке. В поисках вас. Он не умер, он — недожил.

— И что, дело № 2 — не отправить его в свет? — спросил Сергей.

— Дело № 2 — вернуть его в себя, — сказала Нирова. — Найти тело, довести до него правду и отвести его домой — в тот мир, где его ждут. Это называется «возврат». Возвраты — самые сложные дела. С мёртвым проще: у него есть новая родина. С недожившим — труднее: у него есть старая, а он её не помнит, потому что застрял на дороге между двумя адресами.

— А мне? — сказала Анна тихо. — Что я?

— Ты не задаёшь ему вопросов, — сказала Нирова без всякой пощады. — Ни одного. Твоя рука будет тянуть его к тебе, а не к правде. Возврат — это ювелирная работа, а ты — его гиря. Дело ведут Руднева и Дубов. Остальные — подмога. Если он заговорит с тобой — молчи. Если будет звать — не отвечай. Вы уже тренировались, кстати, в это правило. Ночью. Успешно.

* * *

Обед в тот день был странный. Марк сидел за столом наравне с живыми и ел — за троих.

— Аппетит у вас, Виктор Андреевич, — сказала Прасковья Марковна, подкладывая борщ. — Голод годовой, я погляжу.

— Дедлайны, — сказал Марк с набитым ртом. — Когда дедлайн, ешь за двоих. Я тут взялся за одну историю, — он повёл ложкой, — про исчезновения. У вас тут всё как нарочно.

Ольга сидела напротив и смотрела на его пульс — не глазами, а по-своему: пульс у него был, ровный, медленный, как у спящего. Человек, который ест борщ, не должен дышать во сне. Человек, который дышит во сне, не должен есть борщ. В этом доме правила были не общежития, а физиологии, и физиология проголосовала за возврат.

А Марина, глянув на него через стол, вдруг отложила ложку. Вокруг Марка не было никакого цвета. Совсем никакого — как у чистого холста, ещё не тронутого кистью. Жизнь художницы строилась на цвете вины, страха и любви, а тут было пусто, и пустота эта кричала громче любого крика.

— Его жизнь ещё не дописана, — сказала она Ольге одними губами.

* * *

Виктор не спал. Впервые за неделю у него был материал — и материал был живой, говорящий, с сетевым запросом «усадьба Нировых» в истории браузера, который он выудил из мокрого, рассыпавшегося листа, что Марк нёс в кармане. Остатки верстки.

— Итак, — сказал он утром, разложив на столе распечатку. — Марк Вейс. Редактор, сорок один год. Тринадцатого апреля прошлого года был отмечен камерами на бетонном мосту через Протву — сорок километров отсюда. Дальше камер нет: дорога глухая, лес. Утром четырнадцатого нашли машину. Дверца открыта, ключи в зажигании, багажник пуст, крови нет, следов борьбы нет. И — внимание — тела нет. Дело закрыто через месяц с формулировкой «лицо считается пропавшим без вести». Стандартно, скучно, чисто.

— Слишком чисто, — сказал Дмитрий. — Утопленников в апреле не всплывает. Река мелкая. Река мелкая, она выталкивает. Значит, тела нет в реке. Значит, кто-то его забрал. И он до сих пор где-то лежит, и кто-то очень хочет, чтобы его не находили.

— Похищение, — сказала Екатерина.

— Или охрана, — сказал Дмитрий. — Человек, который слишком много знал, доведён до моста, вышел сам, потому что его попросили, и лег там, где попросили. Дальше — больница, капельница, тишина. Врача, который держит человека в коме, найти труднее, чем труп: у трупа хотя бы есть дата.

Стало тихо. Анна сидела, сжав руки под столом, и не спрашивала. Ей было запрещено спрашивать. И — впервые в жизни — она поняла, как выглядит тот, кому запрещают вопросы: это человек, который держит в себе целую статью.

* * *

Ночью дом сделал то, чего никто не ждал.

Марк встал со своей кровати на третьем этаже, прошёл по коридору, спустился по парадной лестнице — по той самой, с натёртыми перилами, — и остановился в западной гостиной перед закрытым зеркалом.

— Я принёс то, что просили, — сказал он ровно, как говорят в приёмной, где тебя примут по расписанию. — Конверт. Отдал, как обещал. Теперь можно? Можно мне назад?

Из его кармана выпал лист бумаги. Он опустился на паркет и лёг там, где упал: пустой конверт без адреса, с нарисованным на обороте мотыльком и штампом почты — датой, которая была завтрашним днём.

Нирова пришла так тихо, что даже Аристарх не услышал. Она смотрела на конверт долго — как смотрят на письмо, которое ждали тридцать два года, а оно пришло не тому адресату. И когда она заговорила, голос у неё был не тот — в нём впервые за сто лет была интонация, и интонация эта была страхом:

— Тридцать три.

Все, кто был в гостиной, посмотрели на неё. Все, кроме Марка, который стоял к зеркалу лицом и спрашивал его, живого у своих мёртвых, когда ему вернут вёрстку.

— Рогов получал тридцать два конверта, — сказала Нирова. — По одному в апреле, каждый год, тридцать два года. Они приходили всегда — и всегда вовремя. А тридцать третий пришёл к живому человеку. За день. — Она подняла с паркета конверт и повернула его так, чтобы все могли видеть штамп. — Значит, теперь их стало тридцать три. И первый из них адресован не зрителю. Он адресован дому.

За окном, в глубине сада, фонтан перестал петь. Это было хуже всего: молчащий фонтан в этом доме значит то же, что тихое восточное крыло. Что уже решено без вас.

Глава восьмая. Длинные руки

* * *

Нирова разговаривала с зеркалом в западной гостиной так, как разговаривают с неоплаченным счётом.

Марк сидел перед закрытым полотном стеклом — снаружи, на стуле, — и отвечал. Голос у него был ровный, всё ещё довоенный, отмирший от практики: голос человека, у которого не спрашивали решений уже год, потому что решения принимали за него другие.

— Свет фар, — говорил он. — Они шли за мной от самого поворота. Я думал — таксист из Ашана сбился с маршрута. Двое вышли на мосту. Один был высокий, в капюшоне. Второй курил, я слышал запах мятой жвачки, — Марк помолчал. — Скажи, они испугаются, если я скажу это вслух? Или они умеют не испугаться даже мёртвым?

— Папку, — сказал он потом. — Они сказали: «Папку отдай». И я рассмеялся им в лицо. Понимаешь, в машине лежала пустая папка — я ехал в усадьбу за вёрсткой, о какой папке речь? Я думал, они шутят. Долго думал. Слишком долго для человека на мосту.

— Конверт, — тихо сказала Нирова. — Ты нёс конверт. Пустой. Ты не знал, что он пустой, пока не открыл его на мосту. Ты открыл его, потому что тебе сказали: отдай, а ты хотел хотя бы прочесть, что отдаёшь. Там была чистая бумага. И это напугало их сильнее, чем напугало бы содержимое.

Марк поднял на неё глаза. Впервые за весь разговор он посмотрел не мимо, а прямо — как смотрят на человека, который умеет договаривать чужие фразы до конца.

— Откуда вы знаете?

— Потому что конверт был мой, — сказала Нирова. — Я писала его в апреле. Я писала его тебе. И я не вписала ни слова, потому что слова, которые я хотела передать, уже были лишними. А теперь, если позволишь, — она повернулась к зеркалу, — мы поговорим не с ним. Мы поговорим с тобой.

За её спиной, в глубине стекла, там, где ничего не должно было отражаться, — потому что плотно было закрыто, а свет — выключен, — медленно проявился силуэт. Третий. Он стоял за спиной Марка, как стоит тот, кому нечего делать в чужом разговоре, кроме как слушать, — и был выше Марка на полголовы, и был слишком спокоен.

— Ты не должен был брать живого, — сказала Нирова стеклу. — Это нарушает правила. Ты их писал. Ты знаешь, что бывает с теми, кто нарушает свои же правила.

Силуэт не ответил. Он просто исчез — как исчезает человек, который выходил из комнаты, чтобы не выяснять отношения.

* * *

Утром у Виктора снова была забастовка дара — до тех пор, пока он не выпил третью чашку кофе и не сел в кресло спиной к окну. Спиной к окну было важно: с окном у него всегда была связь хуже, чем с любым сервером в мире.

В одиннадцать ноль-ноль на его ноутбук пришла бумага. Не файл — бумага: она проявилась на экране, как проявляется фотоплёнка в ванночке с проявителем, строчка за строчкой, бланк за бланком, печать за печатью.

— Карта вызова, — сказал он глухо. — Тринадцатое апреля. Двадцать три пятьдесят четыре. Вызов: мост через Протву, сто метров от старой переправы. Мужчина. Падение. Без сознания. Бригада прибыла ноль ноль тридцать два. Доставлен в ЦРБ, реанимация, — он сглотнул. — Палата номер девять.

Он перелистнул страницу. И то, что он увидел дальше, заставило его выпрямиться так резко, что кресло скрипнуло.

— Оpozнание невозможно. Снятие отпечатков пальцев отменено. Основание: распоряжение районной прокуратуры. Печать. Настоящая печать, с номером, с подписью, с датой. Кто-то с очень длинными руками сделал человека никем.

— Никем не сделать нельзя, — сказал Сергей. — Человек — это не файл. Его нельзя просто стереть. Можно только... — он осёкся. — Можно только убедиться, что никто не придёт его искать.

Все медленно повернулись к Анне. Анна, единственная, кто мог прийти искать, молчала и смотрела на собственные руки. Ей не нужно было признаваться — и это было хуже признания.

— Он ехал ко мне, — сказала она наконец. — Он искал меня в усадьбе. И у него не было папки. Пустая папка — это то, что принесли они. А нёс он... — она сжала пальцы. — Несёт он. Просто ещё не дошёл.

* * *

Опрос вели Ольга и Сергей — мягко, по кругу, как разговаривают с человеком, у которого отобрали больше, чем забрали жизнь. Ольга задавала вопросы о еде и о погоде, Сергей — о дороге и о звуках. Из этой мозаики складывалось очень немного, но всё необходимое.

— Слово «папка», — сказала Ольга вечером за чаем. — Они оба произносили его одинаково. С ударением на второй слог. Люди, которые выросли в разных городах, так не говорят. Это внутреннее слово. Их общее.

— И запах мятой жвачки, — добавил Сергей. — Никотин человек может и не курить. А мятую жвачку не носят те, кто её не жуёт. Он жевал. Он жевал в машине, на мосту, во время разговора. Это не привычка — это тик. Запомните его: когда найдём человека, который нервно жуёт мятую жвачку, — это он.

Прасковья Марковна вошла с термосом и поставила его перед Марком так торжественно, как ставят воду больному: без объяснений, просто потому что надо.

— Живому в доме без каши нельзя: вянут, — сказала она. — Ешь. Каша с 1994 года, но свежесваренная. У меня это не противоречие, это технология.

* * *

Анна сорвалась в девять вечера.

Она не планировала. Она вышла в коридор за водой и увидела, что Марк стоит у окна, смотрит в темноту и о чём-то думает — и лицо у него было такое, какое бывает у человека, у которого всё хорошо ровно до тех пор, пока он не вспоминает, что у него всё плохо. И Анна не удержалась. Она подошла и спросила, — тихо, почти шёпотом, — то, чего не имела права спрашивать:

— Где ты лежишь?

И Марк, не оборачиваясь, ответил так спокойно, как отвечают на вопрос о погоде:

— В девятой.

И это «в девятой» — ровно то же самое, тем же голосом, с той же интонацией — повторилось эхом из-за ржавого замка в конце коридора. Второй раз за сутки из восточного крыла проговорили то, чего никто там не мог знать. Второй раз за сутки дом подтвердил, что он слушает. И второй раз за сутки Анна не разревелась — она посчитала.

— Теперь и оно знает, где тело, — сказал Дмитрий за её спиной. Он не ругался. Он стоял и считал вместе с ней. — Но и мы знаем. И в этом — наше единственное преимущество.

* * *

Нирову нашли в кабинете, у стола, на котором лежал пустой конверт. Она не закрывала его. Она смотрела на него так, как смотрят на вещь, которая раньше была рабочим инструментом, а теперь — уликой против тебя.

— Мотылёк, — сказала она, когда Анна вошла. — Моя печать. Тридцать два письма. Тридцать два апреля. Каждое — Рогову, в конверте с этой печатью. Оплата за молчание перил:

он воск, я — бумага, вместе мы закрывали апрель. Я думала, я прикрываю. Я открывала дверь для того, кто писал за меня. Тридцать третье письмо я написала и оставила в этом кабинете под замком. Утром конверт исчез. Вернулся он вчера. Пустой. С сегодняшним штампом. — Она подняла глаза. — Оно научилось писать моей рукой, Анна. И адресовало письмо живому человеку.

— Кому? — спросила Анна, хотя догадывалась.

— Тому, кто поедет за папкой, — сказала Нирова. — Собирайте людей. Послезавтра, если дождь не смоет мостовую, Дмитрий и Екатерина поедут за Протву. Выезжать нужно до темноты. И забыть о том, что они там были, — вам не удастся. Я сделаю так, что не потребуется.

* * *

Ночью конверт сожгли в камине.

Он не горел. Пламя брало бумагу по краям, чёрнило её, шипело — но печать в углу не темнела. Мотылёк оставался белым, как стоял. Нирова смотрела на это молча, а потом сказала: «Огонь тоже печать. Всё, что пишут дважды, не стирается однажды» — и закрыла конверт крышкой из жести, как закрывают жука.

В три часа ночи Тихон постучал в дверь гостиной — три раза, спокойно, по-домашнему.

— Прибывший, — сказал он. — Выехал из города. Придёт к полудню. Везёт папку. — Он помолчал. — Жёлтую. С верёвочкой.

Все, кто был в комнате, поняли одновременно. Жёлтая папка с верёвочкой — та самая, которую Анна привезла в усадьбу и спрятала под паркетом в западном крыле. Её страховка. Её приговор. Запасная версия статьи о том, как из города исчезают люди, знавшие слишком много.

— Они нашли её, — сказала Анна. — Не нас. Не дом. Её.

И за ставнями восточного крыла что-то тихо рассмеялось.

Глава девятая. Буфет

* * *

Лица выдавали в буфете.

Так это называл Аристарх, и от того, как он это называл, становилось не легче. Буфет стоял в конце западного коридора — стеклянные дверцы, серебряные ручки, пыль вековой вежливости. Внутри, на вешалках, висели не шубы и не пальто. Висели лица.

Они были развешаны аккуратно, как старые пальто в чужой прихожей: мужское — с обвисшими усами, женское — молодое, с прищуром, стариковское — в морщинах, похожих на трещины на лаке. Ни одно не дышало. Но ни одно и не было мёртвым.

— Выбирайте, — сказал Аристарх. — На срок до полуночи. Хозяйка просила передать правила. Их по-прежнему три, но теперь они другие.

Он загнул сухие пальцы.

— Не засыпайте в чужом лице: чужому лицу снятся чужие сны, и не все они отпускают. Не смотрите в зеркала: отражение ещё не знает, что вы наняты. И возвращайтесь до полуночи: после полуночи лицо по дороге домой начинает вас узнавать.

— Очень утешительно, — сказала Екатерина.

— Мёртвые не умеют утешать, — ровно согласился Аристарх. — Мы умеем только информировать.

Дмитрий взял лицо с обвисшими усами — самое незаметное, самое скучное, какое только бывает на свете. Екатерина примерила молодое, с прищуром, и поморщилась: лицо село тепло, как ношенный тулуп, и от этого было ещё хуже.

Виктор остался. Он собирался остаться с самого начала — «кто-то должен держать связь», сказал он, но все слышали вторую часть фразы, которую он не произнёс: кто-то должен держать связь с Анной, если с теми, кто уедет, случится что-то, о чём не пишут в картах вызова.

* * *

Больница была за Протвой, в старом корпусе из кирпича цвета мокрой печи. Дмитрий и Екатерина шли по коридорам со скоростью людей, которым некуда спешить: спешить нельзя — у чужих лиц бывает своя походка, и её нужно успеть подделать раньше, чем её заметят.

Палата № 9 была в конце третьего этажа. Дежурная сестра, отвечая вполголоса, сказала всё сразу, одним дыханием:

— С апреля. Не просыпается и не умирает. Не приставайте.

Внутри лежал человек, которого Дмитрий узнал бы из тысячи, — и не узнал, потому что лицо его принадлежало теперь только костям под кожей. На тумбочке стоял пакет с вещдоками. В нём лежал пропуск редакции с поблёкшей фотографией Марка Вейса.

А на карте, прикреплённой к спинке кровати, красовалась красная печать. Её они искали, и она была здесь: «Снятие отпечатков пальцев отменено. Основание: указание районной прокуратуры».

— Кто-то с очень длинными руками, — сказал Дмитрий тихо. — Сделал человека никем.

Екатерина наклонилась к постели. Она не собиралась этого делать — но чужое молодое лицо с прищуром сделало это за неё, как нанятый актёр играет то, что написано в роли.

— Марк Ильич, — сказала она в упор, тем голосом, каким зовут тех, кто спит слишком долго.

Монитор дрогнул.

Не завыл, не замигал — просто дрогнул, как дрожит пламя свечи, когда в комнате открывают дверь. Как будто спящий перевернулся на другой бок — не для того, чтобы отойти от голоса, а чтобы лучше слушать.

И тогда ручка Дмитрия, лежавшая в его пальто, начала писать сама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.